

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«МЫ» и «ОНИ», «СВОИ» и «ЧУЖИЕ»

А.Н. Мещеряков

Заметки на полях коллективной монографии «Русская и японская цивилизации. Исторический анализ становления и развития национальных идентичностей (сходство и различие)» / под ред. Александра Панова и Кадзухико Того. М.: «Международные отношения», 2016.

Монография «Русская и японская цивилизации. Исторический анализ становления и развития национальных идентичностей (сходство и различие)» является идейным продолжением проекта «параллельной истории», издательский результат которой мы уже видели в прошлом году ([1], рецензии см.: [2, 3]). Рецензируемая книга – тоже продукт совместной работы ученых двух стран, которые представляют свой взгляд на одни и те же проблемы. Но теперь коллективный труд имеет не только историческую, но и культурологическую составляющую.

Книга состоит из нескольких тематических блоков: истоки формирования национальной идентичности, модернизационные реформы второй половины XIX в., влияние русско-японской войны на идентичность, идентичности СССР и Японии, идентичность двух стран после распада СССР. Выделение таких блоков представляется вполне оправданным и совпадает с переломными историческими этапами. Актуальность работы определяется не только чисто историческим и интеллектуальным интересом: авторы неоднократно подчеркивают, что определение нынешней идентичности России и Японии сталкивается со значительными трудностями, обусловленными как конкретными историческими драмами (распад СССР), так и набирающим силу процессом глобализации, который в своем крайнем проявлении отрицает национальную идентичность как таковую.

Название тома одновременно и манит, и пугает. Манит – потому что «национальная идентичность» является одной из самых животрепещущих, острых и интеллектуально увлекательных проблем, с которой приходится сталкиваться историку и культурологу. Пугает – потому что каждый исследователь понимает термин «национальная идентичность» по-своему. Понятие «национальный» и вправду чрезвычайно широко, многогранно и даже размыто. Автор «Введения» (А.Н. Панов), похоже, отдает себе отчет, что авторы исследования очутились в теоретических джунглях, о чем не обинуясь сообщает в первом же

предложении: «Понятие национальной идентичности, определяющей своеобразие, особенность наций-государств, не имеет единого толкования» (с. 7). И это, действительно, так, ибо не все авторы тома согласны с тем, что Россия когда-либо являлась «нацией-государством». Так, Анно Тадаси, размышляя об историческом пути России, придерживается мнения, что она, «выбрав роль универсальной православной державы, отказалась от национального государства, основанного на национальной самобытности» (с. 21). Признаюсь: лично мне ближе вторая точка зрения – я убежден, что национального государства в России (не говоря уж об СССР) никогда не существовало, а политическая элита, прекрасно понимая, что управляет многонациональной страной, в конечном итоге неизменно пресекала любые проявления открытого национализма как губительные для империи.

Обозначив некоторые возможные теоретические подходы к проблеме и убедившись, что в рамках одной книги не удастся сколь-либо подробно рассмотреть их, автор введения решительно сужает задачу, придавая ей дипломатическое измерение (не станем забывать, что оба ответственных редактора – бывшие послы): «...попытаться ответить не столько на вопрос, в чем отличие русской и японской идентичностей, но сделать заключение о том, насколько имеющиеся расхождения реально препятствовали и препятствуют сближению народов двух стран, и найти то общее, что могло бы быть использовано для налаживания взаимопонимания в интересах построения дружеского взаимодействия двух государств и народов – России и Японии» (с. 12).

Что ж, такой «практический» подход по-своему морален и имеет право на существование. Однако установка на поиск «общего» все-таки не отменяет необходимости придерживаться исторических реалий. В целом можно согласиться с российскими авторами, когда они утверждают: «...противоречия между странами, которые не раз проявлялись в ходе построения и осуществления двусторонних отношений, не имеют исторических корней и не являются противоречиями между идентичностями, а имеют политические, геополитические и другие корни» (с. 49). Но вот «подводка» к этому выводу, которая зафиксирована на той же самой странице, может служить предметом для дискуссии: «Сравнительный анализ идентичностей России и Японии в указанный период свидетельствует о преобладании в них общего над специфическим».

Думается, что такой способ рассуждения обусловлен тягой к помянутой «универсализации», которая переключалась из православия в советский марксизм, стала нормой мышления и дает себя знать и в современном отечественном гуманитарном дискурсе, склонном к генерализирующим высказываниям. «Указанный период» – это XVI–XVIII вв., когда правящие элиты двух стран решали совершенно разные задачи. И если Россия искала свое достойное место в международном порядке, то Япония всеми силами от него отрецивалась (если, конечно, этот глагол применим к стране, свирепо преследовавшей христианство).

В целом авторы понимают свою задачу «по-государственному», то есть сосредотачивают свое внимание на том, как государство понимало свое место на международной арене и как оно этого добивалось. Истоки такого рода государственной идентичности обнаруживаются в Византии (для России) и Китае (для Японии), откуда были

заимствованы многие культурно-цивилизационные достижения и понятия, местная интерпретация которых придавала им порой неожиданные смыслы. Итак, авторы сосредоточились, главным образом, на понимании «национальной идентичности» как идентичности государства, прежде всего, в ее отношении к окружающему миру – Востоку и Западу, осмысление которых в разные эпохи оказывалось совершенно различным: восторженным, опасливым, пренебрежительным.

Эта динамика продемонстрирована авторами на разных исторических примерах. Некоторые из них хорошо известны, некоторые привлекают внимание читателя своей новизной. Мне показалось, что обозначенная Икэда Ёсиро проблема общего в теории и практике японского и советского тоталитаризма 1930-х годов заслуживает дальнейшего изучения в контексте международного тоталитаризма. Дело в том, что и Япония, и СССР, и Германия в своих официальных дискурсах утверждали свою уникальность, но на деле внимательно присматривались друг к другу и с готовностью применяли «вражеские» наработки, в которых содержались «свежие» идеи относительно способов мобилизации населения. Примерами тому могут послужить политика поощрения рождаемости, забота о матери и ребенке, пропаганда спорта и здорового образа жизни и др. Во всех тоталитарных странах существовали похожие программы, но вот их источники и последовательность внедрения остаются проясненными не всегда.

Интересна также выявляемая Д.В. Стрельцовым параллель между восприятием в Японии и России судьбы своего народа во время Второй мировой войны в терминах виктимности (я бы, конечно, предпочел выражение «комплекс жертвы», но это не меняет сути дела). При этом автор отмечает: на такое самоощущение в Японии повлияла коммунистическая идеология (в частности, упоминаются высказывания лидеров КНР), упиравшая на то, что несчастный японский «народ» оказался жертвой преступной политики кучки милитаристов. При таком «льстивом» подходе полностью снимается ответственность «народа» за военные преступления, что, безусловно, способствует крепкому народному сну. Соображение о коммунистах верно, но лишь отчасти. Стоит упомянуть и отнюдь не имеющую коммунистической окраски американскую историографию, которая тоже предпочитает возлагать ответственность за военные преступления исключительно на «милитаристов». Под влиянием такого подхода процвела теория «демократии периода Тайсё», согласно которой генеральной линией развития Японии было продвижение к демократии, заблокированное опять же «кликой милитаристов». При таком понимании империализм и национализм второй половины периода Мэйдзи выступают предуготовлением не к тоталитаризму, а к демократии, что вряд ли соответствует действительности. Замечу также, что и принятый сегодня в японской историографии термин «тихоокеанская война» есть также затемняющий суть дела взгляд с той стороны океана: для Японии это была «война за великую Восточную Азию», которая разворачивалась не только в море, но и на материке. Для Америки война с Японией была действительно «тихоокеанской», но, наверное, все были бы удивлены, если бы в нынешней Германии стали на российский манер обозначать свое участие в той войне как «отечественную войну».

Таким вопросам, как «национальный характер» или механизмы инкорпорации «народа» в систему государственной идентичности, внимания уделяется меньше (пожалуй,

исключением здесь является глава, написанная С.В. Чугровым). Видимо, именно поэтому далеко не все труды отечественных и японских специалистов, занимавшихся проблемой идентичности, нашли свое отражение в монографии. По неустановленным причинам это относится, например, к уже ставшей классической работе Огума Эйдзи «Происхождение мифа о едином народе» [4]. Четыре монографии автора этой рецензии, посвященные идентификации японцев, также прошли незамеченными [5–8].

Сугубо государственному подходу к проблеме идентичности есть свое относительное оправдание, поскольку государственная идентичность хронологически предшествует идентичности народов, населяющих Россию и Японию. Так, например, страна Япония – Нихон – известна нам с VIII в., а первое упоминание о японцах относится только к XIII в. Тем не менее, с какого-то времени масштаб геополитических задач, которые ставит перед собой политическая элита (она-то беззастенчиво и считает себя государством), становится таков, что их решение требует мобилизации все большего количества людей. В связи с этим решительно возрастают требования по отношению к управляемости страной, то есть людьми. Поэтому во второй половине XIX в. обе страны отказываются от сословного деления общества, прилагают немалые усилия для создания общего для всей страны информационного поля. И в России, и в Японии общий вектор реформ был направлен в одну сторону. Тем не менее, наблюдаются и существенные отличия в области идеологического обеспечения реформ и их успешности. Они были обусловлены многими историко-культурными факторами. Остановимся лишь на одном, с помощью которого перебрасывается «мостик» между межгосударственной и внутренней идеологией. Речь идет о границе между «своим» и «чужим». Важность этой идеологемы состоит в том, что без нее невозможна любая идентичность.

В силу огромных размеров территории, малой плотности населения, его многоязычия и многокультурности задача по обеспечению управляемости и достижение социального консенсуса в России объективно является более трудной, чем в Японии. В результате к середине XIX в. Россия и Япония оказываются в разной степени готовности к реформам, которые призваны обеспечить конкурентоспособность на международной арене. Среди образованной части российского общества оппозиция правящему режиму была достаточно ощутимой – прежде всего потому, что концепция «самодержавия» не предусматривает обратной связи между правителем и его подданными, а это затрудняет реакцию власти на исторические вызовы, потворствует волюнтаризму и служит раздражающим фактором для общества. Понятие «русский» не предполагало наличия «русской» крови, оно предполагало признание власти царя (императора) и принятие православия. Однако в России проживало множество «инородцев» и «иноверцев». Российская территория в течение всего XIX в. прирастала новыми землями, и количество таких «инородцев» все время увеличивалось. «Инородцы» обладали статусом, правами и обязанностями, отличавшимися от «русских», что усложняло процесс управления. Таким образом, граница между «своими» и «чужими» проходила не только по государственной границе империи, она находилась и внутри нее, что служило источником потенциальных разломов и реальных конфликтов. Православные славяне, проживавшие за пределами империи, считались «братьями» – в отличие, скажем, от

«своих» иноверцев – иудеев, мусульман, ламаистов. Отношение государства к раскольникам тоже вряд ли можно характеризовать как «единоверческое» и «братское».

Большевистская революция, ведомая в значительной степени этими самыми «инородцами», упразднила государственную религию и, безусловно, смягчила на время национально-религиозную проблему, однако вместе с безусловным ростом образовательного уровня на «национальных окраинах» (или, по советской терминологии, в «национальных республиках») росли и националистические настроения. Несмотря на тотальный, казалось бы, отказ от дореволюционного наследия, большевики продолжили курс на внутренний раскол общества. Только теперь неполноценными («реакционными») объявлялись «буржуазные элементы», «служители культа», «кулаки», которые подлежали перевоспитанию (в лучшем случае) или физическому истреблению. Японский пролетарий был ближе советской идеологии, чем отечественный «буржуй». До самого конца СССР «рабочий класс» считался более статусной и «передовой» социальной группой, чем крестьянство (колхозники) и уж тем более интеллигенция (официально именуемая не «классом», а «прослойкой»), члены партии имели определенные привилегии по сравнению с беспартийными. Таким образом политическая элита «разделяла и властвовала», а не «объединяла и властвовала».

Все эти разломы, значительная часть которых была изначально вмонтирована в советскую идеологию, были помножены на катастрофическую некомпетентность и необразованность элиты. Бережное отношение к человеку объявлялось «буржуазным гуманизмом». Все это привело к тому, что Советский Союз почти бескровно распался изнутри без видимых внешних потрясений, войн и восстаний – редчайший в мировой истории случай гибели империи.

После распада СССР Россия не обрела идентичности. Настойчивое продвижение православия в качестве составной части официальной идеологии по-прежнему не имеет шансов для того, чтобы стать основой общественного консенсуса. Новая российская элита мгновенно забыла уравниательные заветы коммунизма и воспроизвела в самом неприглядном виде характерный для дореволюционной России огромный имущественный разрыв между бедными и богатыми. В этих условиях лозунги «равенства» и «братства» не выговариваются даже самыми циничными государственными деятелями. От советской же идеологии новая элита унаследовала абсурдное для современного мира презрение и недоверие к носителям интеллекта. В СССР интеллигенция официально считалась «прослойкой», а в новой России государство неуклонно сокращает финансирование интеллектуальной деятельности (образование и наука), превращая носителей интеллекта в маргинальную социальную группу, что вступает в вопиющее противоречие с той тенденцией, которая наблюдается во всех странах, которые претендуют на достойное место в нынешнем мире. Зримым следствием такого подхода является деградация образовательной и научной сферы, которая по своему характеру не способна принести вороватым чиновникам мгновенной прибыли и быстрых имиджевых дивидендов. Плохо образованная, малокреативная и алчная политическая элита доказала свою способность продуцировать образ внешнего врага в лице Запада (наследие СССР), но не в состоянии предъявить никаких общечеловеческих положительных образов, кроме образа «славного прошлого», которое олицетворяется по преимуществу в событиях,

повлекших человеческие жертвы. Прежде всего, это победа в Отечественной войне. При таком подходе культурные, образовательные и научные цели остаются за горизонтом.

Что касается японских подходов к оппозиции «свой/чужой», то они представляют собой разительный контраст. В начале XVIII в., то есть еще до того, как вопрос о строительстве нации приобрел актуальность, конфуцианский ученый Нисикава Дзёкэн (1648–1724) мудро писал: «Если страна большая, то это не значит, что она уважаема. Ее уважаемость определяется правильностью чередования четырех времен года, достоинствами и недостатками ее людей. Если же страна чересчур велика, то чувства людей и их обычаи весьма разнообразны, и сделать их одинаковыми трудно. А потому Китай, хоть и является страной священных мудрецов, но все равно династия приходит через какое-то время в беспорядок, и управление делается на долгое время трудным... Что до Японии, то ее размеры не малы и не велики, обычаи и чувства ее людей одинаковы, управлять ими легко» [9, с. 25].

Хотя Япония эпохи Токугава представляла собой по существу федеративное государство (около трех сотен князей-даймё обладали армиями и не платили общенациональных налогов), в общественном дискурсе преобладали ценности, связанные с конфуцианскими понятиями «срединности» (избегание любых крайностей как в политике, так и в человеческих отношениях) и «гармонии». Конечно, это была «гармония» средневекового типа, которая предусматривала строгую социальную иерархию, но она предполагала и ответственность власти. Последовательное применение метафоры «гармонии», коллективный характер управления блокировали избыточную жестокость и крайности властного субъективизма. Недаром в истории Японии, в отличие от России, мы почти не встречаем фигур диктаторского типа (на роль диктатора по российско-западным меркам может претендовать, пожалуй, только Тоётоми Хидэёси). Метафора «государства-тела» приписывала каждой общественной группе свою важную функцию. Региональные культурные различия, безусловно, существовали, но за редчайшими исключениями (немногочисленные *айны*) жители окраин не квалифицировались как «иностранцы». В результате в правление Токугава был обеспечен внутренний мир, это время породило, в отличие от России, ничтожное количество диссидентов, и за два с половиной века существования сёгуната не случилось ни одного сколько-то крупного восстания.

После революции Мэйдзи, спровоцированной прежде всего внешними причинами (империалистическим натиском Запада и страхом Японии превратиться в колонию), из этих «управляемых» людей ударными темпами была сформирована единая нация. Главным условием членства в ней стало этническое происхождение. Другие параметры личности представлялись второстепенными. Границы страны совпадали с границами этническими, поиска «внутренних врагов» не велось. Основными институтами для формирования нации стали школа (обязательное всеобщее начальное образование), армия (всеобщая воинская повинность) и средства массовой информации (журналистика), нещадно эксплуатировавшая метафору государства-семьи и государства-тела. Это дало потрясающий объединяющий эффект, обеспечивший стремительное превращение Японии в относительно сильную, образованную и экономически развитую страну, значимого игрока на международной арене, на которой господствовали отношения грубой силы. Поскольку японский национализм был

круто замешан на свойственной для периода Токугава ксенофобии, так же стремительно Япония превратилась в тоталитарную страну, скрепленную чувством превосходства над другими странами и народами. Практически все они попадали в категорию «чужих», к которым не применимы критерии обращения с самими японцами.

Я настаиваю именно на слове «чувство», а не идеи, поскольку «идеи» основаны на логических умозаключениях, японцами же в 30-х – первой половине 40-х годов XX в. управляли, прежде всего, эмоции. Демонстрируя уникальное желание повиноваться власти (диссиденты были представлены лишь крошечной группкой коммунистов), японцы одновременно лишались всяких механизмов защиты против идей своих лидеров и публицистов, которые убедили себя и других японцев в том, что крепость «японского духа» способна компенсировать недостаток ресурсов, экономическое, научно-техническое и военное отставание от передовых стран мира. Не имея исторического опыта ведения длительных войн и управления другими народами, Япония объявила войну половине мира, совершенно не считаясь с реальным соотношением сил. Отказавшись от расчетливой политики конца XIX – начала XX в. и уверовав, что дух сильнее материи, Япония ввергла себя в череду саморазрушительных войн. Единение японского народа было уникальным, протестантов против правительственной политики почти не находилось, но Японская империя оказалась бессильна перед лицом внешнего фактора (коалиции западных союзных держав и национально-освободительного движения в своих азиатских колониях), появление которого она сама и спровоцировала.

Послевоенная Япония не избавилась от потребности в национальной самоидентификации, однако стала искать свое место в мире на совсем иных основаниях. Предметами для гордости стали выступать достижения в экономике, науке, технике, образовании, культуре. Преобразился и японский национализм – к нему применимо определение «культурный». Он предполагал не столько превосходство японцев над другими народами (хотя можно встретить и такие теории), сколько настойчивое подчеркивание своеобразия японцев и их культуры. Этот культурный национализм продолжал играть роль склеивающей субстанции, но не имел агрессивного характера.

В настоящее время под натиском глобализации потенции культурного национализма оказались в определенной степени исчерпанными. Одновременно большее влияние приобретают силы, выступающие за отказ от «мирной» конституции, превращение Японии в «нормальную» страну. У такой точки зрения есть сторонники, есть и противники. Это тот намечающийся разлом, когда граница между «своими» и «чужими» может пройти внутри самой Японии. Но вряд ли историку под силу предвидеть, что произойдет на самом деле.

* * *

Несколько слов о культуре издания. На месте редактора я бы, безусловно, указал имена переводчиков: переводчик является соавтором, и в японских изданиях имя переводчика указывается всегда. Японские имена и фамилии в разных главах пишутся по-разному – где-то соблюдается японский порядок (сначала фамилия, потом имя), что, безусловно, правильно, где-то имя предшествует фамилии. В целом текст вычитан неплохо

(и к этому быстро привыкаешь), но в некоторых местах на читателя вдруг обрушивается шквал опечаток. На странице 69, например, их имеется, по меньшей мере, пять.

Если же оценивать в целом рецензируемую монографию, то следует отметить ее несомненную пользу для обсуждения вопросов, связанных с национальной идентичностью. Создан определенный задел для продолжения дискуссии и освоения смежной тематики. Не все проблемы освещены с одинаковым тщанием, но не станем забывать, что наука – это не только результат, но и еще и процесс.

Список литературы

1. Российско-японские отношения в формате параллельной истории : коллективная монография / под общ. ред. акад. А.В. Торкунова и проф. М. Йокибэ; МГИМО(У) МИД РФ, Ассоциация японоведов. М.: МГИМО-Университет, 2015. 1024 с.
2. Мещеряков А.Н. Япония и Россия в объятиях пространства и времени // Полис. 2016. №3. С. 160–172.
3. Мещеряков А.Н. Культурологические размышления по поводу коллективной монографии «Российско-японские отношения в формате параллельной истории» // Японские исследования. 2016. №2. С. 4–13.
4. Огума Эйдзи. Танъицу миндзоку синва-но кигэн. Нихондзин-но дзигадо-но кэйфу. Токио: Синъёся. 2010.
5. Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. М.: Наталис – Рипол классик. 2006. 735 с.
6. Мещеряков А.Н. Быть японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма. М.: Наталис, 2009. 591 с.
7. Мещеряков А.Н. Стать японцем. Топография тела и его приключения. М.: Наталис, 2014. 431 с.
8. Мещеряков А.Н. Terra Nipponica: среда обитания и среда воображения. М.: Дело, 2014. 423 с.
9. Нисикава Дзёкэн. Нихон суйдо ко. Суйдо кайбэн. Каи цусёко : [Размышления о водах и землях. К пониманию вод и земель. Размышления о торговле между культурным центром и варварами]. Токио: Иванами сётэн, 1988. 196 с.

Поступила в редакцию 21.09.2016

Автор:

Мещеряков Александр Николаевич, доктор исторических наук, профессор РГГУ и РАНХиГС. E-mail: meshtorop@mtu-net.ru